



ШУАНА

Альберто

18+

ВАСКЕС-ФИГЕРОА

Библиотека приключенческого романа (Рипол)

Альберто Васкес-Фигероа

Игуана

«РИПОЛ Классик»

1982

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)6-44

Васкес-Фигероа А.

Игуана / А. Васкес-Фигероа — «РИПОЛ Классик»,
1982 — (Библиотека приключенческого романа (Рипол))

ISBN 978-5-386-13880-6

Остросюжетный приключенческий роман... и глубокая психологическая драма. Он скрылся от оскорблений и ненависти на пустынном острове, затерявшемся в просторах океана. И там Игуана дал себе слово: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах он не позволит себя унижать! Мир ненависти – это его мир. И в этом мире он будет королем. Он сдержал обещание. Он подчинил себе всех. Но однажды в жизни Игуаны появилась женщина...

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)6-44

ISBN 978-5-386-13880-6

© Васкес-Фигероа А., 1982
© РИПОЛ Классик, 1982

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	31
-----------------------------------	----

Альберто Васкес-Фигероа

Игуана

Alberto Vasquez-Figueroa
La Iguana

© Alberto Vasquez-Figueroa, 1980

© Родименко Т. В., перевод на русский язык, 2011

© Издание на русском языке, перевод на русский. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2011

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2020

* * *

На самом юге Галапагосского архипелага, который находится в Тихом океане в тысяче километров от берегов Эквадора, возвышается над водным простором одинокий остров; он называется Худ или Эспаньола и служит излюбленным пристанищем гигантским альбатросам.

Его крохотный залив по-прежнему называется «бухтой Оберлуса» в память о человеке, который обитал здесь в начале восемнадцатого века и был известен под странным прозвищем Игуана.

В основу этого романа положена история его жизни.

Автор

Огромный альбатрос с изящными крыльями со светлой каймой величественно кружил на двухсотметровой высоте, медленно паря без единого взмаха, будто его поддерживала в воздухе невидимая сила.

Это было уже третье его путешествие туда и обратно, от экватора к холодным островам Патагонии, по маршруту, проложенному в воздухе миллионами его предков за время смены бесчисленных поколений.

Здесь был его дом, и он это знал. Родина гигантских альбатросов, место рождения, любви и смерти птицы-повелителя морей, – чайки, олуши, фрегаты, цапли, пеликаны были всего лишь жалким подобием альбатроса, неудачной карикатурой.

Вид склона его насторожил. Несомненно, в его отсутствие прошли дожди, буйно разрослись кактусы и кусты, забрались на скалы и глыбы лавы, с жадностью цепляясь за любой клочок плодородной земли, нанесенной ветром и удобренной пометом миллионов его сородичей, – и в результате образовался неровный и изогнутый, сложный и опасный для посадки участок, уже отмеченный – а он прилетел не в числе последних – телами трех старых самцов, опередивших его в долгом перелете.

Виной всему возраст – он ослабляет рефлексy, к тому же самые старые альбатросы оказываются и самыми тяжелыми, и у них самый большой размах крыльев; это усугубляет опасность, когда они приближаются к земле, вынуждая оглядывать препятствия во время сумасшедшего приземления на убийственной скорости; в двух метрах от земли наступает такой момент, когда уже не существует никакой возможности вновь взмыть в воздух, и остается либо удачно приземлиться, либо разбиться.

У них, гигантских альбатросов, которым в воздухе нет равных, слишком короткие ноги в соотношении с длиной крыльев и величиной тела. Чтобы взмыть в небо, им нужны утесы, выся-

щиеся с подветренной стороны острова, и оттуда – вперед, навстречу ветру; а вот для приземления требуется широкое пространство без препятствий и крутящихся струй в воздухе, которые могут резко отбросить в сторону, длинная «посадочная полоса», чтобы было где бежать, замедляясь во время своего безрассудного спуска.

Он проделал последний круг над островом, возвещая звучным гортанным криком, что сейчас бросится в разверстую могилу; пролетел почти над самой головой полугололого человека в выгоревшей шляпе с белыми разводами пота – тот наблюдал за ним, сидя на вершине скалы; удалился в южном направлении над ревущим морем; стрелой, выпущенной из гигантского лука, вернулся обратно – держа клюв прямо, пригнув голову, ощущая свист ветра в слуховых отверстиях, видя, как надвигается мокрая и черная стена, о которую разбились многие из его предшественников, – и пронесся в полутора метрах от ее вершины, увернувшись от одинокого кактуса слева и обогнув красный камень, служивший отметкой начала склона.

Он тотчас же понял, что точка, откуда возвращение было еще возможно, осталась позади и что сейчас ему предстоит распрощаться с жизнью или же с той несравненной красотой, которой наделила его Природа, – длинными, хрупкими и бесценными крыльями с белой каймой...

Это выглядело так, словно он отчаянно, ведомый инстинктом и рефлексам, нырнул в неопиcуемый вихрь, зигзагами пронесся по лабиринту из веток и камней – и вдруг ощутил под своими слабыми ногами забытую твердь: исполосованную бороздами землю и нагретые камни, по которым он запрыгал короткими комичными прыжками пьяницы и наконец замер на месте, раскинув крылья и словно дивясь собственной отваге и недоумевая, как ему вновь удалось остаться целым и невредимым и добраться до надежного места.

– Браво!

Гоготанье человека и шум, производимый им, когда он с силой стал ударять друг о друга своими верхними конечностями, заставили вновь учащенно забиться сердце птицы, и она почувствовала искушение опять взять разбег к обрыву, чтобы в очередной раз нырнуть в бездну. Но тут мужчина, сочтя спектакль оконченным, лениво поднялся и неторопливо направился в сторону обрывов западной стороны.

– Браво! – громко повторил он, словно с кем-то разговаривая или же наслаждаясь самим звучанием слова. – Эта птичка с пестрыми перьями чертовски хороша. Измерила высоту и проделала каждый маневр с точностью хирурга, отрезающего руку... И ведь закончила полет прямо там, где должна была остановиться. Еще метр – и проломила бы себе башку.

Ему нравилось взбираться на скалу перед заходом солнца и загадывать, выживут или погибнут великаны альбатросы, возвращавшиеся «домой» после долгих странствий. Он завидовал величавой красоте размеренного полета этих птиц и спрашивал себя, что именно они испытывают, окидывая взглядом остров по мере приближения к нему, неудержимо притягиваемые неведомой силой; невидимый гигантский магнит раз в год непреодолимо влек их к себе, как бы далеко отсюда они ни находились.

Ярко-багряное светило, исчезающее за линией горизонта, вот-вот должно было послать миру прощальный луч, после чего очертания предметов начнут расплываться, и ни один альбатрос сегодня уже больше не отважится совершить приземление, отложив его до следующего дня.

Еще десять минут – и с поразительной точностью, ровно в шесть, как происходит в любое время года, на остров внезапно опустится совершенно непроглядная мгла – наступят быстрые экваториальные сумерки; а через двенадцать часов с той же быстротой и точностью солнце вновь появится на востоке – золотое, великолепное, ослепительное.

С наступлением тьмы мужчина съежился, свернулся клубком на дне глубокой пещеры, закрыл глаза и заснул.

Этот человек никогда не знал, как его на самом деле зовут, где он появился на свет, кто были его родители. Его первые воспоминания были связаны с морем и грязным китобойным

судном, впоследствии затонувшим в районе Канар. Когда много времени спустя он попал на другой корабль, он не мог сказать ни кто он такой, ни откуда он родом, и капитану пришла в голову фантазия поменять первоначальное имя Джек – или Джон? – на нелепое прозвище Рыжий Оберлус.

Он вырос не торопясь, кривоногий, костлявый и горбатый, почти не зная запаха земли и звука дружеского голоса, и всадил нож в своего первого врага в панамской таверне. Из-за этого ему пришлось, спасаясь бегством, завербоваться на суденышко пьяных пиратов, которое однажды безлунной ночью село на мель вблизи Пуэрто-Рико на входе в санхуанскую гавань.

Весь следующий день пушкари крепости Сан-Фелипе дель Морро забавлялись пальбой по злосчастной посудине, получившей пробоину, пока не разнесли ее в щепки, – а тем временем привлеченные шумом акулы наполняли желудки, когда пьяные пираты, пытаясь спастись от огня бомбард, в отчаянии прыгали в воду.

Вот тогда-то Рыжий Оберлус и понял, чего он вправе ждать от себя самого и от своей способности не поддаваться страху. Забравшись в носовую часть корабля, где вода была ему по грудь, он невозмутимо ожидал очередного залпа огня и взрыва, глубоко убежденный в том, что его не одолеть ни морю, ни пушкам. Затем под покровом темноты проплыл среди акул – они лишь слегка его задели, – выбрался на берег, пересек остров и в Маягуэсе украл шлюпку, на которой обогнул берег Доминиканы, пока не добрался до острова Тортуга, севернее Гаити, где был уже в безопасности.

Там он прикончил одного негра, а спустя несколько месяцев на нижней части его лица начал появляться рыжий волосной покров. Спутанная и редкая борода сделала еще более заметным отталкивающее, ужасное уродство его свирепой физиономии: женщины при виде него с отвращением отворачивались, а мужчинам, которые были не в состоянии выдержать его взгляд, становилось не по себе.

– Ты смахиваешь на игуану, – дерзнул заметить один швед на борту третьего по счету китобойца Оберлуса. И хотя он ударом ножа обезобразил скандинаву нос, прозвище с тех пор укоренилось среди морской братии. Не было такого судна, порта, борделя или таверны, где его не знали бы как Игуану Оберлуса, самое жуткое страшилище из всех, когда-либо бороздивших океан на всем, что могло передвигаться по воде.

Начиная с того дня, когда чей-то нож в более проворной руке, чем его собственная, оставил ему на память ужасный шрам, задев один глаз – а глаза были «единственной приличной чертой, коей Господь одарил эдакую образину», – его появление на людях где бы то ни было вызывало столько насмешек и презрения, столько отвращения и ужаса, что однажды, на склоне июльского дня, когда «Старая леди II» загружалась гигантскими черепахами близ пустынного острова Худ из состава Галапагосского архипелага, или Очарованных островов, Игуана Оберлус почувствовал, что он более не в силах терпеть присутствие существ, к которым питает ненависть, и решил остаться там – добровольно обрекая себя на участь потерпевшего кораблекрушение, отшельника без веры – и навеки поселиться по соседству с тюленями, альбатросами и ящерицами.

И вот теперь, четыре года спустя, он мог спокойно обозревать на закате свои владения: каменистый пустынный островок, где не было ни одного дерева, способного отбросить маломальскую тень, ни ручьев и родников; любовное ристалище и шумное гнездилище всех тихоокеанских морских птиц, лежбище тюленей, которые сотнями залегали во всех бухточках, на всех открытых плоских участках берега да вдобавок еще на вершинах утесов, с которых они неожиданно бросались в море, совершая умопомрачительные сальто-мортале.

В сущности, не бог весть какие владения, он это знал, зато, по крайней мере, здесь, на Худе, или Эспаньоле, никто не кричал ему, что он чудовище, исчадие ада, сам дьявол во плоти.

И это было самое большее из того, чем когда-либо владел Игуана Оберлус.

Сгрудившись и напоминая виноградины в очень плотной грозди, морские игуаны – грязно-черные твари с грозным зубчатым гребнем, проходящим вдоль спины, – толкались, досаждая друг другу и борясь за каждый сантиметр неприглядной каменной глыбы, облизываемой морем; они повиновались нелепому стадному чувству, не поддающемуся никакому логическому объяснению, – ведь всего в пяти метрах виднелась абсолютно пустынная, столь же неуютная глыба, также омываемая морем.

Он никак не мог взять в толк, хотя и наблюдал за морскими игуанами не один год, причину этого безудержного стремления поделить пространство, которое даже не оставалось тем же самым на следующий день. И не понимал, почему ни с того ни с сего с наступлением отлива все без исключения ящерицы, облюбовавшие определенную глыбу, дружно подхватывались и скопом бросались в море – попасться в глубине на полях водорослей, где их неотступно преследовали ненасытные акулы.

Примерно час спустя они так же, гурьбой, возвращались, и первые наобум выбирали новое место для расположения, которое тотчас же становилось яблоком раздора.

Поведение этих мерзких тварей со стеклянным, ничего не выражающим взглядом светло-зеленых глаз, являющим полную противоположность живости глаз обитающих на земле игуан – одиночек, хитрых, почти домашних созданий с яркой окраской, – казалось верхом глупости.

Он не раз задавался вопросом, отчего так различаются животные, наверняка имевшие общих предков. Почему одни пожелали питаться водорослями под носом у акул, а другие отдали предпочтение колючим кактусам, росшим в глубине острова, или крохотным разноцветным растениям и лишайникам, которые ночная роса пробуждала к жизни то здесь, то там на поверхности бесплодной темной лавы.

Он терпеть не мог несъедобных и тупоголовых морских игуан, и в то же время ему нравилась неуклюжая грация их живущих на земле сородичей, когда те сбегались есть у него с руки, задрав голову и держа хвост торчком; он ценил их мясо – белое и сочное, нежное и ароматное, которое было вкуснее самой аппетитной курятины, приготовленной в ирландской таверне.

Он часто часами напролет наблюдал за теми и другими, ища в них черты собственной физиономии – черты, которые затем вновь разглядывал в лужах, оставленных морем среди скал, – и в который раз недоумевая, по какой странной прихоти Создателя Природа наказала его подобным обличем.

Может, права была ребятня, кричавшая ему вслед, будто бы с его матерью вступил в телесные сношения дьявол? Могло такое случиться, чтобы человек и вправду оказался Люциферовым отпрыском и вел земное существование, как простой смертный?

Несколько лет назад, когда он покинул остров Тортуга и ступил на гаитянский берег, одна старуха шаманша прервала обряд вуду, приказав при его появлении певцам умолкнуть, а танцорам – замереть на месте. Она бросилась ему в ноги, заставив остальных последовать ее примеру, поскольку, как явствовало из ее отрывочных выкриков на колоритном французском языке – так способна была говорить негритянка, родившаяся на берегах Африки, – горбатый и рыжеволосый белый человек, который только что ступил в ее хижину, не кто иной, как сын божества Элегба собственной персоной, – таким тот якобы каждую ночь ей и являлся, когда под действием дурмана она погружалась в глубокий транс.

Он сбежал оттуда и от поклонников-гаитян, однако спустя несколько лет один из них – не такой ревностный, но в то же время убежденный в истинности своих верований – посвятил его в сокровенные тайны учения, которое было древним в Дагомее уже в те времена, когда еврейский плотник проповедовал на берегах Тивериадского озера. Существовали якобы «живые мертвецы», которых посвященный с согласия Элегба мог вернуть в мир, чтобы превратить в рабов, послушных даже самому тайному его желанию.

– Попавшие в ад лишаются всяких прав, – уверял негр, – даже на собственную смерть, и поэтому Элегба вручает их в качестве рабов тем, кто продемонстрирует ему свою беззаветную

любовь. Если однажды твоя покорность и твои жертвы окажутся в должной мере приятными в его глазах, он подарит тебе «живого мертвеца», зомби, чтобы он стал твоим рабом как на этом, так и на том свете.

– А не мог бы Элегба подарить мне новое тело и новое лицо?

Старик негр – он забыл, как его звали, впрочем, возможно, его имя было Мессинэ или Месринэ – долго обдумывал ответ, должно быть роясь в глубинах памяти.

– Однажды, – наконец заговорил он, хотя было заметно, что он колеблется, – чернокожая девушка влюбилась в белого человека и попросила Элегба, чтобы тот превратил ее в белую. Столько умоляла, столько петухов принесла в жертву, что бог внял мольбам, благодаря чему девушка смогла выйти замуж за своего любимого, который увез ее во Францию, не подозревая об ее истинном происхождении. Однако там, прожив пару лет в счастье, девушка родила ребенка, вылитого деда, черного богатыря, – и в ту же самую ночь муж, решивший, что она обманула его, спутавшись с рабом, приказал ее убить. Уже будучи мертвой, она вновь стала чернокожей, однако там, во Франции, похоже, никто не понял, что это было диво, одно из чудес Элегба, и поспешили объявить умершую чумной, а тело ее сожгли. А заодно и ребенка... – Он сокрушенно пожал плечами. – Может быть, тебе повезет больше, – добавил он в заключение.

Здесь, на острове Худ, пребывая в одиночестве, человек по прозвищу Игуана Оберлус не раз и не два приносил во время каждого полнолуния жертвы божеству, прося придать его лицу более человеческий вид или, на худой конец, послать ему раба, «живого мертвеца», который помог бы ему выполнять тяжелую работу. Однако Элегба все еще не внял просьбам – может, потому, что вера Оберлуса не была достаточно сильной, или же потому, что ему пришлось заменять ритуального жертвенного петуха синеногой олушей да чайкой, то ли самкой, то ли самцом, – единственными жертвенными птицами, которых он мог раздобыть на этом пустынном, богом забытом острове.

В конце концов он решил, что морские птицы не радовали глаз божества, и переключился на игуан, гигантских черепах, а однажды даже принес в жертву большого тюленя, которого он три километра тащил на плечах из бухты с подветренной стороны острова, но все оказалось напрасно, и единственным результатом была вонь, в течение нескольких дней стоявшая у входа в самую большую из его пещер.

Что ему надо, черному божеству, чтобы он внял мольбам белокожего исчадия ада?

Тогда он придумал свои собственные ритуалы, свои символы и даже свой язык – единственный на этом островке, – и ему не раз случалось встречать восход, будучи пьяным от кактусовой водки, вызывая к морской царице с самой высокой скалы обрыва, умоляя встающее солнце принести ему в подарок новое лицо, чтобы он мог навсегда прекратить свое добровольное изгнание.

Однако в поверхности луж, когда он склонялся к ним, неизменно отражалась все та же игуаноподобная физиономия.

Каждое утро, день за днем, Оберлус обходил остров, словно в том состоял его долг, по одному и тому же маршруту – начиная с самого дальнего, северо-западного мыса и завершая осмотром полосы берега у подножия высокого южного утеса. Это была неторопливая прогулка, во время которой его голубые, почти прозрачные глаза – «единственная приличная черта, коей Господь одарил эдакую образину» – пристально изучали берег и волны, ничего не упуская, выискивая предметы, которые прибывало к острову сильным течением, доходившим с востока от берегов Чили и Перу.

Меньше трех недель требовалось любому предмету, попавшему в море с материка, чтобы проплыть расстояние в семьсот миль, отделявшее сушу от Галапагосского архипелага. А здесь, на этом обрывистом и опасном участке берега, Оберлус вылавливал свои сокровища – доски,

бочонки, бутылки, кокосы, мешки и даже кусочки янтаря, – которые затем складывал в самом укромном месте самой секретной пещеры.

Море, неизменный поставщик и, как он считал, колыбель, поскольку с ним были связаны его ранние воспоминания, предлагало ему рыбу, лангустов, крабов и черепах, чтобы было чем питаться, освежало его в знойный полдень, когда солнце стояло прямо над головой, посылало грозовые тучи, позволяя пополнять запасы пресной воды, да вдобавок еще и приносило какой-нибудь удивительный подарок, вроде как привет из других миров и иных краев.

И наконец, море давало ему на рассвете обильную росу, которая покрывала участки возделанной им земли. Впервые, еще ребенком, попав на Канарские острова, он обратил внимание на земледельческие хитрости тамошних жителей: те покрывали свои участки вулканическим пеплом, он впитывал влагу, передавал ее земле и в то же время предохранял влажную землю от нестерпимого дневного зноя.

Таким способом он получал почти без воды вполне приличные урожаи помидоров, арбузов, лука и дынь, которые вместе с посадками крошечного, типичного для Анд картофеля и несколькими плодовыми растениями позволяли ему выжить в одиночку без особых лишений.

Непритязательный человек, чуть ли не аскет, суровый, как окрестные скалы, и успевший привыкнуть к лишениям раньше, чем стал взрослым, Игуана Оберлус со временем превратил остров Худ, или Эспаньолу, в такое место, где выживание не представляло особых трудностей. А посему большую часть времени он размышлял над проблемой, действительно не дававшей ему покоя: что делать со своим собственным неописуемым и, похоже, непоправимым уродством?

Почему, спрашивается, его не швырнули в колодец сразу после рождения, в первый же день не избавили от будущих страданий? На этот вопрос он так и не нашел ответа. Равно как не было у него объяснения тому обстоятельству, что люди, давшие ему жизнь и сохранившие ее вопреки всякой логике, впоследствии бросили его на произвол судьбы – именно тогда, когда он более всего в них нуждался.

Он также спрашивал себя, могла ли мать когда-нибудь хоть какое-то время его любить; его также глубоко интересовало сложное чувство, о котором часто заходила речь в матросском кубрике или во время долгих разговоров на баке, но о котором ему самому ровным счетом нечего было сказать.

Оберлус сроду никого не любил, его тоже никто не любил, и когда юнги вспоминали своих невест или матросы, даже самые грубые и драчливые, изменившимся голосом говорили о своих женах, он молча слушал, стараясь максимально напрячь и без того уже острый ум в отчаянной попытке – всякий раз безрезультатной – понять причину, в силу которой один человек мог испытывать к другому человеку любовь или нежность.

От него шарахались даже корабельные собаки, которых, по-видимому, отталкивал его запах или пугало его присутствие, и не было такого случая, чтобы хоть один кот потерялся об его ноги, мяуканьем выпрашивая рыбую голову, словно внушаемое им глубокое отвращение не ограничивалось человеческим родом или каким-то видом животных.

Конечно, справедливости ради следует признать, что это отвращение было полностью взаимным, потому что, насколько он помнил, у него никогда не появлялось ни малейшего желания погладить собаку или подкормить кота; не раз бывало и так, что если во время ночной вахты ему под ноги по неосторожности попадалась на палубе несчастная животное, то он давал ей такого пинка, что она оказывалась в море, где навеки и исчезала.

Море, все время море. Он не помнил ни одного дня своей жизни, когда бы не видел вокруг себя водную гладь; порой он пытался, хотя и безуспешно, представить себе, как может быть, что некоторые люди ни разу не видели моря и, живя далеко в глубине материка, даже толком не знают, что это такое.

«Я, – уверял Пьер, повар на последнем корабле Оберлуса, – увидел море, только когда мне стукнуло тридцать, и точно тебе говорю: я один на всю нашу деревню, кто его видел. У нас, почитай, чуть ли не круглый год ничего, кроме снега, не увидишь».

Игуана Оберлус увидел снег, когда ему тоже было почти тридцать, и все еще не забыл своего глубокого изумления, когда однажды утром после двухмесячной борьбы с волнами и сильными течениями у мыса Горн, во время которой им не удавалось продвинуться ни на милю, он встал, готовясь созерцать все тот же далекий берег – серый, грязный и неприветливый, – и обнаружил, что все, что не было морем, в том числе корабль, покрыто белым и холодным покрывалом.

За два часа до полудня ледяной ветер надул паруса, море напряглось, теперь уже в покое, и «Старая леди II» наконец оставила позади мыс Горн и вырвалась на тихоокеанский простор, вновь пускаясь на поиски чудесного китового фыркня.

И тогда он вынул из кожаного чехла гарпун и наточил его острие так, что им можно было бриться. После чего снова принялся тренировать затекшую руку, метая гарпун через всю палубу от носа до кормы, чтобы в конце концов вонзить его точно в центр толстой доски, прикрепленной к бизань-мачте.

Он всегда, еще с юности, был первым гарпунщиком на судне, самым сильным и самым метким, самым отважным и самым сообразительным, когда приходилось табанить¹ или сушить весла в ожидании появления всплывающего из глубины исполина, и гордился тем, что с годами не утратил ловкости.

Каждый день, после обхода восточного берега, он спускался к воде и в течение более двух часов набивал руку, метая тяжелый гарпун на тридцать метров и загоняя его в песок по самое место хвата.

Иногда он предпочитал выслеживать среди скал ни о чем не подозревавших акул; их зубы он потом использовал в качестве ножей или наконечников остроги², с помощью которой охотился за рыбами поменьше. Охота на хищниц возбуждала его почти так же, как когда-то возбуждало сопротивление с китами и кашалотами на утлом баркасе.

Жизнь китобоя не сахар, поскольку вслед за часом опасности и воодушевления часто наступало томительное ожидание, порой тянувшееся неделями, когда приходилось переносить удушающий зной, штиль, ужасные штормы и невыносимую вонь судна. Зловоние проникало в кровь, пропитывало кожу – и в результате на берегу даже самые отвратительные и жалкие потаскухи не желали иметь с ним дела.

Уродливый, горбатый, оборванный да еще пропахший китовым жиром – стоило ли удивляться тому, что даже в самом паршивом портовом борделе где-нибудь у черта на рогах ни одна бабенка ни за какие коврижки не соглашалась предаваться любовным утехам с первым гарпунщиком «Старой леди II», так как вдобавок ко всему к моменту выхода на берег Игуана Оберлус уже успевал проиграть в кости все заработанные деньги.

Вполне естественно, что из-за этого у него не сохранилось ни одного приятного воспоминания о предыдущем отрезке жизни.

Ночь прошла, пока он занимался жертвоприношением божеству Элегба, выбрав для этого большую наземную черепаху – одну из гигантских галапагосок, которые и дали название островам; громадные панцири этих животных потом служили ему для сбора дождевой воды, когда переполнялись его нехитрые водосборники.

Ему светила огромная луна, заставлявшая отливать серебром море и влажные скалы, и при лунном свете – а было светло почти как днем – он совершал обряд, который с каждым разом становился все изощреннее. Он истязал несчастное животное, доводя себя до опьяне-

¹ Табанить – грести обратно для поворота или для движения кормой вперед. – Здесь и далее примечания переводчика.

² Острога – рыболовное орудие в виде вил с несколькими зубьями.

ния кактусовой водкой, и, словно одержимый, разражался проклятиями при виде черепашьего безразличия к боли, хотя он вновь и вновь колот ее длинным ножом и резал на куски.

Когда же он одним махом отсек ей голову и та упала на землю, он с удивлением увидел, как она пытается его укусить – и еще примерно полчаса продолжала свои попытки, – а тело, в свою очередь, оставалось живым, сердце билось – и могло биться почти абсолютно нормально еще больше недели.

Вот почему китобои приплывали к Очарованным островам со всех концов земного шара, чтобы загрузиться гигантскими черепахами, – где еще было взять мясо самого лучшего качества, которое к тому же могло сохраняться живым и свежим на протяжении всего долгого плаванья?

Взрослая черепаха выживала на корабле без пищи и воды больше года, благодаря крайне медленному обмену веществ; можно было отрезать от нее куски – сколько потребуется коку, – а она при этом не только не умирала, но и не испытывала никакой боли. Находились такие варвары из рода-племени юнг, которые забавы ради извлекали у несчастных животных мозг – величиной чуть более горошины, – и те в течение нескольких месяцев продолжали передвигаться из стороны в сторону по палубе.

Вот поэтому, зная про них все, после полуночи Игуана Оберлус, перепачканный кровью, с затуманенным алкоголем сознанием, отшвырнул нож в сторону и рухнул на землю, уверенный в том, что бога Элегба нимало не тронуло ни его титаническое усилие, ни принесение в жертву животного, которое в действительности было все равно что растение.

Он до последней капли выпил дурманный напиток собственного приготовления, закрыл глаза, сраженный сном и крайней усталостью, а когда несколько часов спустя вновь их открыл, он увидел его прямо перед собой – высокого, сильного, полуголого и угольно-черного, просто идеал «живого мертвеца», какого только можно себе представить, – вот он, подарок, который он выманивал у Элегба почти четыре долгих года.

Сначала ему было трудно поверить, что это не наваждение, и он несколько раз тряхнул головой, пытаясь избавиться от остатков охмеления. Но даже после того, как он несколько раз подряд открыл и закрыл глаза, «зомби» по-прежнему стоял там, где он его увидел, причудливо освещаемый луной, которая уже почти разлеглась на горизонте.

Он поднялся, медленно прошелся вокруг негра, восхищаясь его силой и статью, и в завершение протянул руку и пощупал мускулы – неужто тот и впрямь стоит перед ним и, даже будучи мертвецом, остается во плоти?

– Ты силен и очень красив, – хрипло произнес он, почти про себя. – Ты способен работать день и ночь, и мне даже не придется тебя кормить.

Он остановился перед негром и в упор на него посмотрел, с удовлетворением отметив по отсутствию всякого выражения на его лице, что собственное уродство не произвело на того ровным счетом никакого впечатления.

– Ты очень красив, – повторил он. – Прекрасный подарок Элегба.

Негр не произнес ни звука, и это его не удивило, ведь, по преданию, «зомби» не разговаривают, им позволено покидать кладбище только ради работы на хозяев – не размыкая уст, не жалуясь; они не ведают усталости, они нетребовательны и не подвластны разрушению, наделенные «всего-навсего» *божественно-демонической* силой Элегба, черного божества, с незапамятных времен правившего в дагомейских джунглях.

– Пошли! – властно сказал он, обрадованный тем, что наконец кому-то придется его слушаться, подчиняться ему и терпеть его присутствие, не выказывая презрения или отвращения. – Иди! Шагай за мной!

«Живой мертвец» последовал за ним, словно механическая кукла, походка его была медленной, тяжелой, немного неуверенной и шаткой, как у моряков, отвыкших от ощущения твер-

дой почвы под ногами, – или же как у существа, несколько веков неподвижно пролежавшего на дне могилы.

Походка Оберлуса, наоборот, вскоре сделалась быстрой и нервной: он, привыкший к неровностям вулканической почвы острова, перепрыгивал с камня на камень, словно коза, охваченная странным оживлением и скачущая от радости, и с нетерпением предвкушал наступление нового дня, при свете которого ему предстояло выяснить, заглянув в ближайшую лужу, откликнулся ли Элегба и на другую просьбу – подарить ему новое лицо.

Он взобрался по крутому склону, загроможденному камнями, вспугнул семейство бакланов, которые поднялись в воздух и улетели в открытое море, и сел на небольшой площадке, поджидая своего раба, с трудом карабкающегося вверх по его следу.

Луна начала терять силу, меркнуть; остров вот-вот должен был перейти во власть расвета, возвещающего о скором появлении ярко-желтого солнца, которое выскочит в небо из-за горизонта, словно гигантский мяч, подкинутый в воздух ребенком-исполином.

– Хотел бы я знать, каких это дел ты натворил при жизни, если, пока твоя душа горит в аду, тело даже не имеет права на покой смерти, – сказал Оберлус, когда негр взобрался на вершину склона и, тяжело дыша, остановился перед ним. – Но хотя я этого никогда так и не узнаю, меня радует все, что бы ты ни совершил, раз подобным способом я заполучил от Элегба такого силача, как ты... Пошли, – добавил он, вставая. – Скоро рассвет, а мне охота взглянуть на тебя в деле.

Он поспешил продолжить восхождение к дальней вершине; стало совсем светло, когда они до нее добрались, и он обернулся, удовлетворенный, чтобы еще раз окинуть взглядом небольшой остров, свое «королевство», в котором, начиная с сегодняшнего утра, у него появился первый верноподданный.

Фрегаты, чайки и олуши взмывали в небо, готовясь приступить к ловле рыбы в окрестных водах, где кипела жизнь, а великий океан, пребывающий в покое, в очередной раз подтвердил, что Бальбоа³ не ошибся с названием. Тем временем высоко-высоко вверху перистые облака окрашивали небо в бледно-розовый цвет, так что совсем скоро ему предстояло стать темно-синим.

Замечательное было у него «королевство»: пустынное, темное и спокойное; вечно напряженное выражение почти сошло с его хмурого лица, как вдруг глаза его – «единственная отличная черта, коей Господь одарил эдакую образину» – блеснули, стоило его взгляду упасть на крохотную бухту в глубине, и он в замешательстве выговорил:

– Корабль!

Негр, стоявший рядом, проследил за направлением его взгляда и разом оскалил все свои белые зубы.

– Да, корабль, – подтвердил он насмешливым тоном, – «Мария Александра». И моему капитану будет страшно интересно узнать, отчего ублюдку вроде тебя вздумалось удариться в колдовство.

Он протянул руку и, схватив Оберлуса за шею, сжал свою сильную ручищу, похожую на железный капкан.

– Пошел, – произнес негр все тем же насмешливым тоном, хотя и не терпящим возражений. – Старик вправит тебе мозги.

Он ни на секунду не выпускал Оберлуса, угрожая одним движением свернуть ему шею при попытке вырваться, и заставил его двигаться в таком положении – на комично полусогну-

³ Испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа (1475–1519) первым из европейцев пересек Панамский перешеек и достиг берегов Тихого океана, который он назвал Южным морем. Тихим же назвал этот океан португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан (ок. 1480–1521).

тых ногах, шатаясь и терпя унижение, – по извилистой тропинке, петлявшей между скал, групп высоких кактусов и густых зарослей и ведущей к белой полосе берега тихой бухты.

Показались два вытащенных на берег вельбота, какие используют китобои. Два десятка матросов занимались погрузкой на корабль тяжелых черепах под пристальным наблюдением трех мужчин, которые, расположившись под навесом из тростника и парусины, вели счет трофеям.

– Разрази меня гром! – произнес самый старший из мужчин, великан с длинными усами и спутанной седой шевелюрой, когда негр остановился перед ним и показал ему подарок – пленника, заставив того поднять голову, невзирая на его упрямое сопротивление. – Где ты его откопал, Мигель?

Негр неопределенно махнул рукой в сторону высокой части острова.

– Я обнаружил его спящим в расщелине, капитан... – сказал он. – Дурень, должно быть, принял меня за «живого мертвеца», гаитянского зомби, которого ему прислал бог вуду. Он, как я понял, все ночь занимался жертвоприношением и колдовством. Думаю, он пьян... Или свихнулся.

Старик недоверчиво покачал головой, медленно обошел вокруг пленника – как тот час назад обошел вокруг негра, – а затем отчетливо проговорил:

– Нет. Не думаю, что это сумасшедший. Я уже о нем слышал. Игуана Оберлус, рыжий гарпунщик. Ты ходил с капитаном Харрисоном на «Старой леди II», верно? А до этого с Пойэно на «Династик»... Мне про тебя порассказали, – прибавил он. – Бунтарь, пьяница, игрок, задира и убийца. И наполовину колдун, как я понял. Настоящее исчадие ада, страшнее всех демонов, вместе взятых. – Он снова уверенно покачал головой. – Нет, ты не сумасшедший... Ты жуткий пройдоха, способный в одиночку взбаламутить смирную команду.

Остальные постепенно оставили работу и с любопытством приблизились – поглядеть на оборванного и мерзкого уroda, пойманного Мигелем. Большинство матросов невольно морщились от отвращения, тогда как Оберлус отворачивался, опустив голову, пытаясь избежать взглядов в упор. Ему это не удавалось, поскольку время от времени чернокожий гигант, захвативший его в плен, с силой дергал его за густую рыжую шевелюру, вынуждая его выставить физиономию напоказ.

Капитан долго молчал, раскуривая почерневшую изогнутую трубку и давая самому себе время подумать. Когда его размышления, судя по всему, привели к желаемому результату, он раздвинул губы, обнажив два желтоватых сточившихся клыка, что должно было означать сардоническую улыбку.

– Так-так! – произнес он, пуская дым прямо ему в лицо. – Поглядим... Тебе не хуже моего известно, что в этой части света занятие колдовством карается смертью, а я, в силу своего положения, облечен достаточной властью, чтобы прямо сейчас отправить тебя на костер... – Он сделал длинную паузу, чтобы Оберлуса объял страх, который он постарался ему внушить. После чего продолжил прежним тоном: – Однако, принимая во внимание, что большим наказанием будет, как мне кажется, если приговорить тебя терпеть собственное существование, нежели сделать из тебя шкварку, приговариваю тебя к пятидесяти ударам кнутом и конфискации всего имущества в качестве компенсации за причиненное нам беспокойство. Боцман! – обратился он к тощему человечку со злобной физиономией. – Немедленно исполняйте приговор!

Когда он пришел в сознание, далеко-далеко в небе стояла луна, прикрываемая тучей.

Его бросили на песчаном берегу, и все тело его, превратившееся в одну сплошную рану, горело огнем. Палач словно развлекался тем, чтобы его кнут не оставил нетронутым даже сантиметра кожи на теле жертвы, – и вот теперь Оберлус чувствовал, как по истерзанной спине бегают крабы, питаясь вырванными лоскутами кожи и плоти.

Он стряхнул их и кое-как пополз к воде – очень медленно, закусив губу, стараясь не выть от боли, – чтобы погрузиться в море и слегка промыть бесчисленные раны – тогда они затянулись бы под действием соли.

В этой бухте, за которой отныне и навеки закрепилось его имя, он провел три дня и три ночи, не имея сил, чтобы вернуться в свое убежище, – несмотря на то, что в полдень мириады мух, размножавшихся вокруг тюленьих колоний, слетались, чтобы присосаться к его гноившимся ранам.

Это были действительно мучительные дни: часы беспамятства, кошмарных видений чередовались с просветлением и невыносимой болью; однажды он испытал желание броситься в море и позволить акулам раз и навсегда положить конец нескончаемой череде его несчастий.

Впрочем, это была всего лишь мимолетная мысль, с ходу отвергнутое искушение, потому что Игуана Оберлус прежде всего был существом, привязанным к жизни, наделенным врожденной живучестью; по-видимому, им двигало неистребимое желание отыграться, словно в глубине души от затаил надежду на то, что в один прекрасный день ему представится случай поквитаться и с Богом, и людьми – и Судьба вернет с лихвой ему все, что дотоле с таким упорством норовила у него отобрать.

Ему не хотелось умирать здесь – всеми забытым, растоптанным и побежденным, в ужасном одиночестве на каменистом острове посреди самого большого океана; растерзанным непрошеными гостями – после всех истязаний, которым его подвергали все кому не лень на протяжении «невесть скольких проклятых лет существования».

Ну уж нет. Кем бы он ни был, от кого бы ни вел свое происхождение, Оберлус не желал, чтобы его забили до полусмерти, как бродячую собаку, и чтобы никто и никогда даже не вспомнил, что он когда-то жил на свете и кое-что собой представлял, а не только внушал ужас и отвращение.

Он, Оберлус, высеченный, полумертвый от жажды, брошенный на произвол судьбы, сражится со всеми и вся и потребует то, что ему причитается, силой, раз уж без силы, судя по всему, никак не обойтись.

На четвертый день он совершил мучительное восхождение к своим пещерам, и там обнаружил, что «Мария Александра» вывезла в трюмах весь запас фруктов и овощей, а ее команда потехи ради переломала деревья и с корнем повыдергивала виноградные лозы.

В самой большой пещере не осталось ни одной целой бутылки, ни стола, ни мало-мальски пригодного стула, а янтарь – самое ценное сокровище, добытое за несколько лет кропотливого собирания по берегу моря, – бесследно исчез.

Даже жалкий тюфяк оказался изрезан ножами, и Оберлус бессильно рухнул на ворох сухих листьев, чувствуя, как они прилипают к его неисчислимым ранам, и впервые на своей памяти дал волю слезам.

Он плакал навзрыд, без всякого стеснения, не сомневаясь, что у него достаточно оснований, чтобы себе это позволить, и что на всем белом свете не сыскать – может быть, даже не найти во всей Истории – столь же глубоко несчастного человека.

Его покинул даже Элегба, бог зла, и только сейчас он осознал, что совершил ошибку, вверив свою судьбу божеству, покровительствующему чернокожим, которое видело в нем – рыжем и белокожем – всего лишь еще одного недруга своей расы.

«Чужие боги для меня не годятся, – убежденно сказал он себе. – Как и чужие демоны... Мне надо построить свой собственный мир, и раз уж я не такой, как все, клянусь жизнью – ибо это все, что у меня есть, – что впредь не подчинюсь ничему, что было установлено людьми. Не подчинюсь никаким законам и не признаю иного Неба и иного Ада, нежели мои собственные. Я сам по себе, остальные сами по себе».

По прошествии нескольких дней он слово в слово повторил свою клятву – перед солнцем, которое уже утомленно разлеглось на горизонте, – и, когда почувствовал, что силы к нему

вернулись, спустился на берег, вынул из кучи песка никем не обнаруженный тяжелый гарпун и с силой метнул его в самца-вожака ближайшего тюленьего семейства.

Застигнутое врасплох смертью бедное животное, пронзенное насквозь, словно апельсин – меткой стрелой, взвилось в воздух и, не издав ни единого звука, упало плашмя на камни; оно еще два раза ударило хвостом по луже, взметнув фонтан брызг, окрашенных кровью.

Самки и детеныши тюленя, не подозревавшие о существовании внезапной насильственной смерти, с любопытством придвинулись ближе к самцу и вожаку, принохиваясь к крови, вытекавшей из раны на его теле, и даже не отпрянули в сторону, когда человек подошел забрать оружие.

Тюлени, поколение за поколением рождавшиеся на этих островах – вероятно, с тех пор, как тысячи лет назад холодное течение, возникшее в антарктических льдах, вынесло к берегам архипелага их далеких предков, – не ведали об иных опасностях, кроме голодных акул и свирепых касаток, от которых они ловко ускользали в воде благодаря своей сверхъестественной проворности.

Когда какой-нибудь самец достигал старости, другой, который был моложе, тут же заявлял права на его гарем. А когда старик в итоге оказывался побежденным, он с трудом отползал на скалистый берег с наветренной стороны и ждал смерти, которая не заставляла себя долго ждать, вероятно служа расплатой за бессилие или утрату мужества.

Вот так – естественно и предсказуемо – смерть наступала главу семейства и вожака стаи, однако не было ни одного случая, с самых давних времен, запечатленного в памяти их вида, чтобы здесь, на Галапагосах, могучий и здоровый самец-вожак пал, неожиданно-негаданно сраженный железным острием, прикрепленным к деревянной ручке.

Поскольку тюленям были неведомы страх, несчастья или понятие «враг», их не насторожило и то, что человек схватил крошечного детеныша размером чуть больше мяча из черного плюша и, подняв его над головой, с силой швырнул в сторону ближайшей скалы, так что при ударе хрустнули кости; животные лишь безропотно следили за ним круглыми удивленными глазами, в которых почти явственно читалось крайнее изумление и замешательство.

Не раздалось ни крика, ни стога, никто не попытался спастись бегством, и, вероятно, это непротivление, эта абсолютная покорность его желанию разрушать и мстить и утомили Оберлуса, который, не встретив сопротивления, словно осознал бессмысленность своего поступка, вмиг остыл и предпочел удалиться, ковыляя по берегу.

По первому же здравому размышлению Игуана Оберлус пришел к выводу, что невозможно противостоять миру и стремиться его победить, если ты безоружный одиночка, оказавшийся на незащищенном острове в окружении скопища морских птиц, способных, похоже, только испражняться на него сверху, когда он по неосторожности забредал в места их гнездования.

По большому счету он мало где мог избежать подобного посягательства, поскольку гигантские альбатросы захватили себе центральную полосу от южных утесов и чуть ли не до берега северной бухты, синеногие олуши господствовали на скалистом западном берегу, красноногие – на островках кустарниковых зарослей на возвышенностях, а вороватые фрегаты – в низкорослых дубняках.

В пустотах между камнями и щелях скалистых берегов откладывали свои конусовидные яйца очковые пингвины, а цапли и прочие голенастые заселили мангровые заросли, тогда как выюрки и голуби рассредоточились по всей поверхности острова, уживаясь в добром соседстве с его многочисленными обитателями.

Так что было нелепо надеяться при обходе своего «королевства» избежать попадания на широкополую изношенную шляпу «привета» от какого-нибудь из крылатых подданных, поскольку часто выдавались такие дни, особенно в брачный период, когда, без преувеличения,

невозможно было, взглянув вверх, увидеть хотя бы один квадратный метр неба, свободный от птиц.

Уж, конечно, не дождь птичьего помета в будущем защитит его от врагов, и он понял, что ему понадобится призвать на помощь всю свою хитрость, если он желает найти способ противостоять остальным людям.

Прошло время. Два корабля, вероятно китобойных, прошли мимо вдалеке, а третий – по виду пиратская посудина – стал на якорь в бухте, чтобы загрузить в пустующие трюмы игуан и черепах. Оберлус спрятался в гуще кактусовой поросли, но быстро понял, что это ненадежное и неподходящее убежище. Когда голоса удалились, он наконец покинул укрытие, исколовшись о тысячи колючек, которые не оставили на нем живого места, после чего твердо решил всерьез заняться маскировкой самой извилистой из своих пещер, чтобы никто не смог ее обнаружить.

Он взялся за дело с верой и воодушевлением, коих ему хватило бы и на то, чтобы свернуть горы, и уже начал входить во вкус работы. Но однажды вечером, сидя на вершине скалы и наблюдая за приземлением гигантских альбатросов, отважно спикировавших на утес, который высился с наветренной стороны острова, он заметил, как две длиннокрылые птицы выпорхнули буквально у него из-под ног, будто появились прямо из камня, чтобы в течение нескольких минут носиться друг за другом в воздухе и вернуться обратно, бесстрашно устремившись к опасному обрыву.

Он никак не мог взять в толк, как альбатросы не расшиблись о скалу и не свалились со сломанной шеей вниз, в пропасть, и ему подумалось, что остров поглотил их с потрохами, чтобы потом точно так же извергнуть из себя спустя несколько минут.

На следующий день с самого утра, когда вода только начала отступать, он обошел остров и, воспользовавшись тем, что отлив освободил часть суши, прошел краем берега, добравшись до подножия отвесной скалы, вершина которой служила ему дозорной башней.

Потребовался почти час, чтобы скорее догадаться, нежели разглядеть, что под выступом, расположенным в десяти метрах от вершины скалы, имелось отверстие с неровными краями, и вот туда-то ныряло и оттуда выныривало, быстро и абсолютно уверенно, семейство альбатросов.

Он рассудил, приняв во внимание свободу движения птиц и скорость, которую они развивали при взлете и посадке, что в скале есть пещера, которая, несмотря на небольшой вход – не больше двух метров в диаметре, – должна достигать значительных размеров, а потому в тот же день предпринял попытку спуститься к ней. И хотя это оказалось крайне рискованно и пару раз он чуть было не сорвался в пропасть, то, что он обнаружил, с лихвой вознаградило его за все опасности.

Проход в пещеру был узкий, но почти сразу раздвигался в гигантскую полость длиной пятьдесят метров и такой же ширины, высокую, сухую и уютную и, что удивительно, освещенную рассеянным светом, проникающим через десятки мелких отверстий в каменной стене, внутри которых находились гнезда морских птиц.

Он не спеша обследовал свою чудесную находку, отметил, что дальше в глубь острова уходят узкие галереи, а в самом удаленном углу обнаружил небольшую группу сталактитов, с которых капала чистая, слегка горьковатая на вкус вода, которая затем впитывалась в рыхлую почву, состоявшую только из птичьего помета и скорлупы, поскольку здесь, вне всякого сомнения, веками гнездились миллионы и миллионы морских птиц.

Он долго все обдумывал, дотошно все осматривал и, когда решил вернуться назад, на вершину утеса, пришел к выводу, что впервые в жизни ему улыбнулась удача и наконец-то у него появилось то, что поможет противостоять человечеству.

Ему понадобилось больше месяца, чтобы выдворить птиц, выкинув в море их яйца и горы помета, и обустроить пещеру, поместив под сталактитами огромные панцири черепах – со временем у него должен был накопиться приличный запас питьевой воды.

Затем он завалил камнями вход, оставив только узкий проход, рассчитанный на одного человека, и прорубил ступени в стене утеса, причем так, чтобы их нельзя было увидеть сверху и только он, знавший, как они проложены, мог найти их на ощупь.

В итоге в день завершения своих трудов он был совершенно уверен в том, что, сделав достаточные запасы провизии в своем убежище – а для этого в его распоряжении имелись огромные черепахи, которые способны оставаться живыми без пищи в течение нескольких месяцев, – он окажется в недосягаемости, даже если миллион человек будут прочесывать остров пядь за пядью.

Поэтому он больше не чувствовал себя зависимым от пиратов и китобоев, которые могли вторгнуться в его «королевство», наоборот, это они, начиная с сего момента, будут полностью оказываться в его власти.

Он терпеливо ждал.

Каждый день на рассвете карабкался на вершину утеса и оглядывался по сторонам: не появился ли корабль? – и даже в течение дня пару раз бросал свои дела, чем бы он ни занимался, и снова поднимался туда, чтобы проверить, не появился ли на горизонте какой-нибудь парус.

Наконец через неопределенное время – он не вел ему счет, потому что оно перестало для него существовать, – он, к своему удовольствию, увидел, как грязное китобойное судно большого водоизмещения направилось прямо в центр крохотной бухты и стало на якорь.

Бортовые огни горели всю ночь, и, когда до рассвета оставался всего час, Оберлус уже сидел, притаившись, среди валунов на расстоянии меньше двадцати метров от того места, где по идее должны были пристать шлюпки, – там все еще стоял, накренившись, наспех сооруженный матросами «Марии Александры» навес, к одному из столбов которого его привязывали во время экзекуции.

С первыми лучами солнца на борту тяжелого корабля, носившего звучное имя «Монтеррей», возникло движение, и до Оберлуса донесся отчетливо произнесенный приказ спустить на воду кормовую шлюпку.

В нее спрыгнули пятеро матросов и неспешно начали грести, со смехом и шутками, громко восклицая при виде тюленей, вынырывающих из воды рядом с носом лодки. В утреннем воздухе хриплые голоса звучали магически – сопровождаемые ударами весел о борт, плеском воды и жалобным скрипом потрепанного корпуса выдавшего виды китобойца.

Достигнув берега, матросы впятером втащили лодку на мягкий песок, и тут же каждый из них вскинул на плечо по бочонку, взяв себе по воронке и помятому латунному черпаку.

Затем, продолжая обмениваться шутками, подталкивая друг друга и смеясь, они направились в глубь острова; впрочем, матросы прошли вместе не более сотни метров и вскоре разошлись в разных направлениях.

Оберлус выждал, пока у него не останется сомнений в том, что они удалились окончательно и бесповоротно, и по песку подполз к лодке, двигаясь так, чтобы она его заслоняла, постоянно находясь между ним и теми, кто мог заметить его с корабля.

Добравшись до лодки, он осторожно заглянул внутрь и, не делая резких движений, забрал два ножа с широким лезвием, горсть рыболовных крючков и цепь длиной несколько метров.

Все так же ползком вернулся с добычей в укрытие и, оказавшись среди валунов и кустов, вскочил на ноги, поднял тяжелый гарпун и быстро и бесшумно двинулся на запад, в самую труднопроходимую часть острова.

Вскоре он обнаружил то, что искал. Маленький смуглый человек, вне всякого сомнения отпрыск индианки и белого, с длинными черными волосами, индейским носом и глазами евро-

пейца, стоял, наклонившись над небольшим озерцом, и с помощью черпака и воронки набирал воду в бочонок.

Метис не услышал, как Оберлус подкрался, и вздрогнул от неожиданности, когда тот возник рядом с ним, точно свалившись с неба. Он открыл было рот, чтобы закричать, но онемел от ужаса, ощутив прикосновение к шее острого лезвия ножа, приставленного к горлу.

– Только пикни – и я перережу тебе глотку... – произнес Оберлус тоном, не оставляющим сомнения в том, что он исполнит свою угрозу. – А ну-ка вытяни вперед руки.

Метис беспрекословно повиновался, все еще пребывая в онемении от ужаса, и Игуана ловко связал ему руки цепью, а затем перебросил ее через шею таким образом, чтобы образовалась петля.

После этого спрятал бочонок, черпак и воронку в кустах и с силой дернул испуганного человечка, едва его не опрокинув на землю; непонятно было, что того в действительности больше напугало – неожиданное нападение и пленение или же жуткое уродство похитителя.

– Пошли! – приказал Оберлус. – И помни: стоит тебе произнести хоть слово, и я перережу тебе глотку.

Он без всяких церемоний, словно какое-то выючное животное, потащил пленника за собой, продвигаясь вперед быстрым и судорожным шагом, чуть ли не прыжками, по камням, через кусты, вынуждая метиса спотыкаться и падать. Будучи связанным, тот практически не имел возможности двигаться в том же темпе, что и Оберлус.

– Не прикидывайся, – процедил Оберлус сквозь зубы, увидев, что пленник замешкался, пытаясь подняться после пятого падения. – Вздумаешь хитрить – устрою тебе взбучку.

И словно в подтверждение своих намерений, он с силой пнул его в зад, так что несчастный вновь упал, ударившись головой о камни; он расшиб лоб, и из раны почти тотчас же потекла кровь.

Это не смягчило Оберлуса, а словно еще больше подстегнуло; он дернул за цепь и ускорил шаг, проволочив за собой жертву, передвигавшуюся чуть ли не на четвереньках, сотню метров, и затем ступил в глубокую расщелину, разделившую надвое восточную окраину острова.

Когда они наконец остановились перед входом в небольшую пещеру, он крепко связал пленнику ноги, превратив его в подобие тюка, так что тот самостоятельно не мог даже пошевелиться. Затем всунул ему в рот кляп, сделанный из куска материи, оторванного от его же собственной рубашки, и вкатил в глубь пещеры, где пленник остался лежать ничком, словно был без сознания.

– Если увижу по возвращении, что ты пытался убежать, искромсаю тебя на куски, – сказал Оберлус, перед тем как замаскировать вход в пещеру камнями и ветками.

Довольный результатами своего труда и уверенный в том, что никому никогда не удастся обнаружить тайник, он поспешно удалился, взобрался на вершину утеса и оттуда, укрывшись в зарослях, стал наблюдать за передвижениями остальных матросов.

Около полудня четверо матросов, прождав у лодки долгое время, начали проявлять беспокойство из-за отсутствия своего товарища и во второй половине дня разбрелись по острову, крича во все горло.

Когда до наступления сумерек остался один час, к ним присоединились еще десять или двенадцать человек; они провели ночь на берегу, разбив лагерь и разведя большие костры – вне всякого сомнения, стремясь подать знак пропавшему товарищу. Однако к вечеру второго дня, видимо, потеряли всякую надежду, решив, что он погиб или, может быть, прячется с намерением дезертировать, и, едва начало смеркаться, «Монтеррей» снялся с якоря, поднял паруса и, покачиваясь, скрылся в южном направлении.

– Как тебя зовут?

– Себастьян.

– Себастьян – а дальше?

Вопрос явно застал пленника врасплох, и ему пришлось его обдумать, как будто он не привык к тому, чтобы кто-то интересовался его фамилией.

– Себастьян Мендоса, – произнес он наконец.

– Где ты родился?

– В Вальпараисо⁴.

– Бывал я в Вальпараисо... Сколько тебе лет?

– Не знаю.

– Я тоже никогда не знал, сколько мне лет. Чем ты занимался на корабле?

– Был на подхвате у кока и прислуживал капитану.

– Отлично! Очень хорошо! Просто замечательно! – Оберлус растянул губы в подобие улыбки, которая еще больше обезобразила его лицо. – А здесь будешь моим поваром, моим слугой и моим рабом. Уразумел? Моим рабом.

– Я свободный человек. Я родился свободным, мои родители были свободными, и я всегда буду свободным...

– Так было бы вне этого острова, – резко прервал его Оберлус. – А сейчас ты оказался здесь, на Худе, *острове Оберлуса*, как он теперь называется, – и здесь не существует иного закона, кроме моего собственного.

– Ты спятил?

– Еще раз это скажешь – отрежу тебе палец, – сказал он твердо. – Потом другой – всякий раз, когда сделаешь или скажешь что-то, что мне не понравится. – Тон его подтверждал, что он сам убежден в том, в чем заверяет пленника. – И отрежу тебе ногу или руку, если проступок окажется еще серьезнее. Я намерен установить строгую дисциплину, и добьюсь этого своим методом.

– По какому праву?

Оберлус взглянул на чилийца, словно действительно никак не мог взять в толк, чего тот добивается подобным вопросом, однако, секунду подумав, ответил ему в тон:

– По моему собственному праву, ибо оно единственное, с которым я считаюсь. По тому же праву, какое было у вас, когда вы меня унижали, презирали, оскорбляли и били с тех самых пор, как я себя помню... – Он взглянул на пленника с ненавистью. – Вы вечно твердили, что я чудовище, – продолжил он после короткой паузы, – и повторяли это столько раз, что в конце концов я спрятался здесь, на голых скалах... – Он остановился, чтобы вздохнуть свободнее, поскольку, не имея привычки к произнесению длинных высказываний, почувствовал недостаток воздуха. – Я устал от этого. Я для вас чужой, вы для меня – тоже.

– А при чем тут я? – спросил метис с недоумением. – Я-то в чем перед тобой провинился, ведь я же не был с тобой знаком!

– Твоя вина та же, что у всех. Взгляни-ка на меня! – приказал Оберлус, схватив пленника за подбородок и заставив его поднять глаза. – Посмотри на мое лицо. Уродливое, правда? Взгляни на этот шрам на щеке и на это пятно, красное и поросшее волосами. Взгляни на мою спину, кривые ноги и мою никчемную левую руку, напоминающую крючковатую лапу. – Он усмехнулся. – Вижу, что ты не можешь скрыть отвращения. Я тебе противен! Но разве я виноват в том, что таким уродился? Я что, просил наделить меня подобной внешностью? Нет! Однако никто из вас ни разу не попытался меня понять, отнестись ко мне с участием или симпатией... Никто! Почему, в таком случае, я должен вести себя по-другому? Теперь мой черед. Ты будешь моим рабом, будешь делать, что я прикажу, и при малейшем недовольстве с твоей стороны я тебя так проучу – ты пожалеешь, что на свет родился! Я надену тебе на ноги путы, и будешь работать от зари до зари. Я с тебя глаз не спущу, даже если ты не будешь меня видеть,

⁴ Вальпараисо – город и морской порт в Чили.

а с наступлением ночи тебе придется укладываться спать там, где она тебя застанет, потому что если я обнаружу, что ты шастаешь в темноте, то отрежу тебе яйца. Ясно?

Себастьян Мендоса лишился двух пальцев на левой руке – тех же самых, что были атрофированы у его «хозяина», – пока не усвоил раз и навсегда, что не может позволить себе ни малейшей оплошности, а приказам следует подчиняться тотчас же и не раздумывая.

Оберлус отсек ему сначала один, затем другой палец с интервалом в две недели, без садизма, но и без малейшего колебания: прижал его руку к камню, взмахнул тесаком и тут же прижег рану раскаленным докрасна лезвием ножа.

Оба раза Мендоса падал в обморок от боли, два дня у него был жар и кружилась голова, однако на третий ему пришлось встать на ноги и изъявить готовность проработать двенадцать часов, чтобы не подвергать себя риску стать за считанные месяцы полным калекой.

Страх, который он испытывал вначале, со временем перерос в необоримый ужас, усилимый тем обстоятельством, что часто он неделями не видел своего мучителя, хотя постоянно ощущал его грозное присутствие где-то поблизости.

Где именно тот скрывался или каким образом ухитрялся перемещаться с места на место, не обнаруживая себя, но при этом давая понять, что он рядом и не спускает с него глаз, было недоступно пониманию чилийца; Игуана Оберлус был точно тень или невидимка, и не раз ночью Себастьян Мендоса внезапно просыпался, уверенный в том, что тот за ним наблюдал, пока он спал, словно его страшный враг обладал кошачьей способностью видеть в темноте.

Как он ни крепился, чтобы не плакать, но с наступлением сумерек, когда ему следовало устраиваться на ночлег там, где бы он ни находился, в хорошую ли погоду или в дождь, в жару или в холод, он не мог сдержать горьких слез страха, одиночества и бессилия, катившихся по его щекам; при этом он чувствовал себя еще более беззащитным и одиноким, чем самый перепуганный ребенок.

Так прошло два долгих месяца, и вот, когда последние гигантские альбатросы покинули остров, отправившись на юг, там, на юге, возникли на горизонте гордо раздутые паруса большого корабля.

Оберлус первым увидел его со своего наблюдательного поста, устроенного на утесе с наветренной стороны острова, и почти тут же явился за пленником, копавшимся в земле; надев тому цепь на шею, он повел его с собой наверх, не позволяя ни на секунду отстать от него ни на шаг.

Они вместе проследили за тем, как корабль приблизился к острову, собираясь, судя по всему, пройти вдоль берега в поисках надежного укрытия в северной бухте, и полюбовались изящным силуэтом и ослепительными парусами, придававшими ему элегантный вид огромной чайки, едва касающейся поверхности воды.

– Это «Белая дева», – сообщил Мендоса, – она следует из Вальпараисо в Панаму, но странно, что она так отклонилась от своего курса. Наверно, все дело в пиратах... Поговаривают, что Тоший Булуа промышляет в здешних водах.

– Один раз я видел его судно «Главный алтарь», – кивнул Оберлус. – Пираты бросили якорь в бухте, погрузили черепах и напились на берегу. Судя по разговорам, которые я слышал, они держали путь к Сан-Сальвадору, на север архипелага. Это большой и суровый остров с хорошими укрытиями и закрытыми бухтами, однако без капли воды. Каменная пустыня. – Он покачал головой. – Не нравится мне этот Булуа. Сначала был священником – и уж потом стал пиратом, а я терпеть не могу людей, которые вот так меняют взгляды.

– Он устраивает черные мессы над обнаженным телом шлюхи, а ее срамное место служит ему дарохранительницей... Если его поймают, виселицы ему будет мало. Его хотят сжечь заживо.

Игуана Оберлус повернул голову и в упор посмотрел на чилийца; от взгляда «хозяина» тому всегда становилось не по себе, ему зачастую казалось, что глаза страшилища вот-вот выйдут из орбит.

– Почему это его должны сжечь заживо? – хрипло произнес Оберлус. – Каждый может выполнять мессу как заблагорассудится и поклоняться кому угодно и как ему представляется лучше. Кто такие священники или Инквизиция, чтобы решать, что какой-то способ лучше или хуже, чем любой другой? Это уж Богу, коли Он существует, или дьяволу решать, приятна им наша жертва или нет.

Себастьян Мендоса, бедный метис-чилиец, рожденный и воспитанный в благоговении перед Богом и Святой Матерью Церковью, внушенном испанскими священниками огнем и мечом, воззрел на своего мучителя уже не с ужасом – он всегда в его присутствии испытывал безудержный панический страх, – а с искренним изумлением. Его удивлению не было меры, поскольку слова Оберлуса превосходили самую невообразимую ересь, какую ему доводилось слышать на протяжении жизни.

Бог и Король – в этой последовательности или обратной: в данном вопросе священники и правосудие так и не пришли к согласию – изначально представлялись двумя столпами мира, и никто, сколько он себя помнил, не осмеливался в его присутствии поставить под сомнение власть одного либо установленные каноны для поклонения другому или же общения с ним.

Тех, кто восставал против порядка, пусть только на словах, всегда ожидала смертная казнь – через повешение или сожжение – после длинной череды пыток, а из окружения столь простого существа, как Себастьян Мендоса, никто и никогда не подвергал себя риску отправиться на костер или виселицу из-за пустяковой прихоти – желания высказать вслух свои убеждения.

– Тебя за это сожгут, – уверенно сказал он. – Инквизиция поджарила кучу народа за половину того, что ты тут наговорил.

– Сначала пусть попробуют меня поймать, – заявил Оберлус. – Никто никогда больше не тронет меня пальцем. В этом можешь быть уверен... Пошли! – добавил он. – Пора прятаться.

«Белая дева» уже обогнула юго-западную оконечность острова и, приспустив паруса, продвигалась вдоль западного берега в поисках надежного укрытия, и Себастьяну Мендосе ничего не оставалось, как покорно, словно корова, которую ведут на бойню, отправиться следом за похитителем; чилиец не решался выказать даже слабое неповиновение, будучи уверенным, что мерзкое существо – вне всякого сомнения, нелюдь – вполне способно привести угрозу в исполнение и, стоит только пикнуть, отсечь ему оставшиеся пальцы. Они добрались до пещеры, где тот его прятал в первый раз, – и сцена повторилась: Оберлус его связал и всунул ему в рот кляп, снова превратил в тюк, который вкатил внутрь, а затем ловко замаскировал вход камнями и ветками.

Позже, вооружившись гарпуном и длинным ножом, он спустился в бухту, спрятался в кустах и терпеливо ждал, когда команда «Белой девы» сойдет на берег.

На этот раз на воду были спущены три лодки, и он одновременно удивился и почувствовал возбуждение, когда разглядел зонтики и разноцветные платья двух дам, спускающихся по трапу. Они высадились на берег в сопровождении элегантно одетого пожилого мужчины с благородными манерами, и, наблюдая, как троика прогуливается у кромки воды, Игуана Оберлус вскоре сделал вывод, что это, несомненно, состоятельные супруги вместе с дочерью, еще подростком. Волосы у девочки были цвета воронова крыла, а лицо – просто матовой белизны.

Он настолько увлекся наблюдением за прогуливающимися дамами, которых увидел впервые за много лет, что его чуть было не застигла врасплох группа матросов, направляющихся в глубь острова в поисках воды; в последний миг ему пришлось прижаться к земле и даже затаить дыхание, когда они прошли мимо всего в трех метрах от его укрытия.

Лежа на земле, он явственно расслышал непристойные комментарии по поводу размера груди девушки, а также замечание о том, что могло бы с ней случиться, если бы заботливые родители на мгновение ослабили бдительность.

– Но ведь ей не больше пятнадцати! – возмутился один из матросов.

– Как раз в пятнадцать сильнее всего жжет между ног, – сказал пожилой матрос. – Со временем этот костер безвозвратно прогорает.

Третий матрос, вероятно, произнес какую-то шутку, которую Оберлус уже не расслышал, однако до него донесся общий смех мужчин; постепенно их голоса стихли вдаль – когда они миновали кактусовую поросль и неспешно направились вверх по склону.

Тогда Оберлус вновь обратил свой взор на женщин, которые уселись на камень и с интересом оглядывались вокруг, прислушиваясь к словам мужчины, который, по-видимому, старался живописать им характерные особенности острова и его необычных обитателей. Чувствовалось, что дам впечатляет суровый пейзаж, окружающая их дикая красота и своеобразная фауна. Особенное их внимание привлек расположившийся на камне в десяти метрах от них фрегат: он, равнодушный к присутствию людей, надувал, словно огромный мяч, свой горловой мешок ярко-красного цвета и при этом издавал яростный и отчаянный звук с целью привлечь внимание очаровательной самки, в нерешительности кружившей над гнездом, невзирая на настойчивый призыв почтительного ухажера.

Оберлус знал – он наблюдал это уже тысячи раз, – что еще до темноты самка опустится рядом с изнуренным самцом, который к тому времени охрипнет и обессилит, но было очевидно, что для новичков сей увлекательный любовный танец, исполняемый в нескольких метрах от каменистых участков берега, занятых сотнями морских игуан, тюленями и гигантскими черепахами, в самом деле представляет собой необычайное и завораживающее зрелище.

Девушка казалась просто околдованной таинственностью и притягательностью одного из островов архипелага, самым популярным названием которого в то время было Очарованные острова. И когда крупная наземная игуана с поднятым гребешком и красными и желтыми пятнами на коже невозмутимо, словно комнатная собачка, принялась обнюхивать край ее нижней юбки, она наклонилась и погладила ящерицу по голове – так непринужденно, будто забавлялась с кроликом у себя в саду.

Наступил вечер, а лодки продолжали сновать между кораблем и берегом, и вскоре Оберлусу стало ясно, что матросы заняты разбивкой лагеря. Тем временем прочие пассажиры – два священника, военный и еще пятеро мужчин, по виду важных особ, – группами по очереди высадились на берег и разбрелись по острову в разные стороны: одни – чтобы предаться молитве, другие заинтересовались флорой и фауной, а двое – чтобы искупаться нагишом в укромном уголке бухты.

Некоторое время спустя три человека зашли в воду по щиколотку и принялись извлекать из-под камней больших омаров и кидать их прямо в костер, который развели в углублении, вырытом в песке.

Ракообразные подпрыгивали и изгибались, пока не замирали на дне углубления; меньше чем за полчаса мужчины бросили в костер чуть ли не сотню омаров и засыпали их сверху песком, чтобы угли доделали работу, начатую огнем.

Последним на берег сошел капитан – судя по виду, чревоугодник и балагур. Вскоре три раза прозвенел корабельный колокол, и пассажиры и помощники капитана расположились вокруг грубого стола, чтобы приступить к поглощению омаров, которых матросы уже извлекли из-под песка; затем были поданы огромные порции сочного черепашьего мяса, испеченного на углях.

На остров стремительно опустилась ночь, и стало казаться, что с ее приходом голоса и смех зазвучали громче; как бы там ни было, никогда раньше этому отдаленному уголку земли

– самому неуютному, заброшенному и обойденному вниманием Творца и забытому людьми – не приходилось выступать свидетелем подобной суматохи.

Тюленьё семейство, расположившееся у кромки воды, черные игуаны, сбившиеся в кучу на облюбованном камне, и птицы, сотнями тысяч рассеявшиеся по кустам, казалось, были завожены сиянием костров, звоном стаканов, взрывами хохота и гроыханием веселого баса толстяка капитана.

А Оберлус, затаившийся в своем укрытии, глядел во все глаза и слушал во все уши, стараясь не упустить ни одной детали пиршества, хотя его внимание в основном было сосредоточено на юной пассажирке. Она сидела как раз напротив него на расстоянии дюжины шагов, и иногда, когда она переводила взгляд на кого-то из собеседников, Оберлусу казалось, что она смотрит прямо ему в лицо и видит его – хотя это было невозможно, так как он находился за пределами участка, освещаемого пламенем костров.

Когда порой она заливалась счастливым, веселым смехом, Оберлус испытывал ощущение, будто ее смех адресован именно ему, словно она пытается спровоцировать его и выманить из тени – а ну как он отважится показать ей при свете свое отвратительное, безобразное лицо.

Капитан распорядился открыть бочку с пивом и еще одну, с ромом, для матросов, пассажиры смаковали темный ликер в красивых граненых бутылках; вскоре веселье стало общим, и боцман извлек из футляра выдавшую виды гитару и затянул глубоким низким голосом старинную испанскую песню.

Ее тут же подхватили матросы, к ним присоединились пассажиры, включая священника и военного, и наконец капитан, отец семейства и его спутницы – все хором в полный голос выводили печальную песню, в которой говорилось об отчем доме, оставшемся очень далеко, куда, быть может, им уже не суждено вернуться.

Для Оберлуса, подбиравшегося среди камней и кустов все ближе к непрошеным гостям, подобные переживания были пустым звуком, поскольку ему так и осталось неизвестно, где его родина и что это за печаль такая, но, несмотря на это, в какой-то момент он испытал нечто вроде потрясения. Его вызвала скорее невозможность быть членом такого сообщества, какое он видел перед собой, нежели прилив собственных воспоминаний.

Сколько он ни воскрешал в памяти один за другим прожитые годы, он не мог вспомнить ни одного дня, когда ему довелось бы поучаствовать в подобном проявлении радости и веселья; ни в тавернах, ни в борделях, ни в тихие вечера на корабле – нигде он не был принят человеческим коллективом, поскольку его присутствие, совершенно определенно, охлаждало самую теплую атмосферу, тяготило собравшихся и убивало – без всякого тому логического объяснения – искренний смех и воодушевление в голосах.

А все дело в том, что было в Оберлусе нечто внушающее еще большую тревогу, чем его отталкивающее и не поддающееся описанию уродство. Нечто леденящее, грозное и пугающее, словно разряд или магнитная сила отрицательного полюса, от чего окружающим становилось не по себе; в конце концов люди стали утверждать, что ему-де «достаточно дотронуться до растения – и оно завянет».

Никто не мог бы пояснить, что именно оказывало столь роковое воздействие и откуда происходит подобная способность вызывать отвращение, но, вне всякого сомнения, причина заключалась не столько в обыкновенном эстетическом неприятии, сколько в некоем силовом поле, из-за которого он оказывался окруженным невидимой стеной.

За столом стало тихо, как будто все решили отдышаться после громкого пения, смеха и разговоров, и в наступившей тишине капитан попросил юную пассажирку спеть, – за время путешествия он имел возможность убедиться в том, что она умеет это делать с удовольствием и у нее замечательный голос.

Девушка попыталась было отказаться, но тут сидевший в полусумраке боцман тронул струны гитары, и послышались первые звуки узнаваемой креольской мелодии; это, вероятно,

придало юной даме смелости, потому что она встала, кивнула своему неожиданному аккомпаниатору и запела сильным и проникновенным голосом, не вязавшимся с ее юным возрастом и хрупким видом.

Безусловно, это произвело волнующее впечатление на всех, кто находился на берегу, но в особенности – на человека, следившего за девушкой из темноты. Он сидел не шелохнувшись, затаив дыхание и чувствуя, как по телу бегают мурашки, поскольку ему впервые довелось наблюдать, пусть из темноты, такую безыскусную сцену: когда нормальная женщина, а не какая-нибудь грязная потаскуха из портового кабака, с грацией и чувством пела для небольшого кружка слушателей.

В песне, как, вероятно, следовало ожидать – и было естественно, – говорилось о несчастной любви моряка, искавшего удачи в дальних морях, и прекрасной девушки, молча страдавшей из-за его долгого отсутствия и не терявшей надежды, даже когда ее уверяли в том, что корабль ее возлюбленного поглотила океанская пучина. Каждое утро девушка выходила на берег и обращалась к этому самому океану с мольбой вернуть ей жениха. В конце концов ее слезы разжалобили океан, и он отпустил моряка с острова, где держал его в плену.

Игуана Оберлус с удивлением обнаружил, что горько плачет, но еще больше его поразило то, что девушка внезапно умолкла, вздрогнула, будто по ее телу с головы до ног пробежал озноб, и, пристально глядя в его сторону, сказала:

– За нами кто-то наблюдает.

Это вызвало всеобщее изумление, и каждый, как по команде, повернул голову, но никто не увидел ничего в беспросветной темноте, и пожилой господин, отец девушки, с досадой произнес:

– Ах, оставь! Не говори ерунды! Это всего-навсего птицы и черепахи... Остров необитаем.

Она, словно защищаясь, укуталась в темную шаль, брошенную на плечи, и, помолчав, произнесла с легкой дрожью в голосе:

– Я буду спать на корабле. Не хочу ночевать на берегу.

Затем, не проронив больше ни слова, направилась к краю берега и остановилась, гордо выпрямившись, возле одной из шлюпок. Присутствующие переглянулись, испытывая неудобство и смущение, – и тут поднялась мать девушки и сказала:

– Наверно, она права: будет лучше, если мы, женщины, переночуем на корабле. Нам так будет удобнее, да и мужчины, оставшись одни, будут чувствовать себя свободнее.

Она вопросительно взглянула на супруга, и тот кивнул, одобряя ее решение; тут же пять матросов подбежали к шлюпке, в которой уже успели разместиться мать и дочь, и поспешно столкнули ее в воду.

Когда лодка растворилась во мраке, держа курс на огни «Белой девы», дородный капитан повернулся к пожилому мужчине и с ободряющей улыбкой сказал:

– Вам не следует осуждать дочь за этот поступок. Такое обилие необычайного и уродливого зверья смутит кого угодно, в особенности столь юную и утонченную особу.

– Но ведь я воспитывал ее так, чтобы она умела стойко переносить трудности времени, в которое нам выпало жить. Ее сегодняшний поступок меня разочаровал. Это же надо придумать – будто кто-то наблюдает за ней из темноты!

– Меня это не удивляет, – подал голос сидевший в стороне боцман с гитарой. – Мы обнаружили свежие следы в расселинах и оврагах на западной оконечности острова.

– Вероятно, кто-то, как и мы, искал воду и черепах...

– Мы также обнаружили возделанные участки земли и несколько плодовых деревьев... – Он сделал паузу. – И кто-то мне однажды рассказывал, что на одном из этих островов некогда жил, а возможно, живет до сих пор уродливый бунтовщик-гарпунщик.

– Сказки!

– Сказки, сеньор, в этих краях зачастую имеют под собой реальное основание.

Почти интуитивно все мужчины огляделись по сторонам, тщетно пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте.

Они ничего не увидели, а вот Игуана Оберлус держал в поле зрения всех, кто был на берегу.

Однажды в бухту зашел «Москенесой», норвежский китобоец последней модели – с высокими бортами, тремя изящными мачтами, – чтобы перед длительным переходом пополнить запас провизии за счет черепах. «Москенесой» находился в плавании уже два года и через год должен был повернуть на Берген, заполнив под завязку трюмы жиром, который принес бы очередные барыши судовладельцу и пьянице капитану.

Всем известное пристрастие капитана китобойца к рому за два года привело к полному развалу дисциплины на судне. Дошло до того, что, когда через три дня после отплытия с острова Худ кто-то впервые хватился Кнута, марсового матроса, слегка тронутого умом, было решено, что бедолага, вероятно, свалился ночью за борт, и на этом вопрос был закрыт.

Жалованье пропавшего марсового, которое он должен был получить при заходе в следующий порт, капитан положил в свой карман, и о бедном дурачке никто больше не вспоминал.

А тому, в свой черед, было бы даже не под силу рассказать на норвежском языке – единственном, на котором он говорил, – что же с ним приключилось. Он только-только с превеликим трудом перевернул необычайно тяжелую наземную черепаху и собирался сходить за товарами, чтобы вместе с ними ее перетащить, как вдруг почувствовал сильный удар по голове. Свет в его глазах померк, а когда он очнулся, он увидел, что лежит связанный рядом с метисом, находившимся в таком же положении, а перед собой – жуткое страшилище, какое ему не доводилось видеть даже в кошмарном сне.

Любая его попытка общения с самого начала оказалась обреченной на неудачу; впрочем, то, насколько быстро «чудовище» впадало в ярость, а также безграничный страх, выдаваемый метисом, заставили понять даже его, слабого умом матроса, сизмальства приученного выполнять команды, что здесь и сейчас вряд ли стоит вести себя по-другому, – и он послушно исполнил все, что от него потребовали.

Начиная с этого момента, по своего рода молчаливому уговору, не требующему лишних объяснений, Себастьян Мендоса превратился в надсмотрщика и наставника норвежца Кнута, а тот, как преданный пес, ходил за ним по пятам, выполняя все его приказы и повторяя, точно попугай, каждое слово.

Он озирался по сторонам в поисках Оберлуса, когда так поступал напарник, садился есть одновременно с Себастьяном, а с наступлением темноты, как и чилиец, падал на землю, где бы ни находился, и в страхе замирал, не издавая ни звука, до тех пор, пока сон не подчинял его себе на те двенадцать часов, что длится ночь в этих экваториальных широтах.

С течением времени он и Мендоса превратились в сообщников, хотя их сообщничество сводилось к тому, что они делили на двоих свои страхи и тяготы, будучи не в состоянии выносить план, который позволил бы им сбросить иго рабства.

Игуана же все время держал их под наблюдением. Они не знали, когда и как он это делает, и случалось, что его по два-три дня нигде не было видно, однако неожиданный вскрик птицы, шорох раздвигаемых ветвей или свежий след на тропинке напоминали о том, что он по-прежнему где-то рядом, всегда и повсюду.

Оберлусу была по душе подобная игра, а еще ему нравилось прятаться в свое убежище, пещеру в скале – он превратил ее в весьма уютное место, более всего походившее на домашний очаг, которого у него отродясь не бывало, – зная, что там, снаружи, два человека работают на него и живут в постоянном напряжении, в плену страха.

Он упивался властью. Наконец кто-то оказался слабее него, это было новое и чудесное ощущение, поскольку раньше ему никогда не доводилось кому-то приказывать, а теперь он повелевал, и ему еще и повиновались.

Это действительно было здорово: незаметно перемещаться по пересеченной поверхности острова, который он знал как свои пять пальцев, украдкой наблюдать за действиями «рабов», улавливать, насколько они напуганны, и подогревать их страх разными нехитрыми способами, лишая пленников покоя, держа их в состоянии тоскливого ожидания. В такие минуты он чувствовал себя богом, который все видит, тогда как остальным не дано точно знать, где он находится и чем именно занят.

Теперь он пребывал в состоянии, близком к тому, какое, вероятно, испытывал капитан «Старой леди П», следя за перемещениями команды сквозь решетчатые ставни на окнах своей каюты, расположенной на корме; при этом даже старший помощник капитана никогда не смог бы угадать, ведет ли тот наблюдение или храпит без задних ног на своей койке.

А потом, вечером, отдавая распоряжения, хитрый капитан определял наказания и поощрения и таким способом добивался от своих подчиненных большей отдачи, чем любой из его коллег, поскольку вот такое скрытое наблюдение в итоге превратилось в навязчивую идею матросской братии, которая даже помыслить не смела о том, чтобы прохладиться во время работы.

Теперь он, Оберлус, был и капитаном, и судовладельцем, и полновластным хозяином острова. Наступит день, когда войско рабов достигнет приличной численности, и он объявит остров независимым, поскольку непонятно, с какой стати он должен признавать власть короля Испании, кто бы им ни являлся, ведь возможно, что тот даже не ведает о существовании сего забытого богом клочка земли.

Впрочем, до этого было еще далеко, и он это понимал. Ему нужны были люди и оружие, не говоря уже о недюжинной хитрости, чтобы превратить этот безлюдный скалистый остров, загаженный птицами, в неприступное убежище, бастион, каким в свое время был остров Тортуга⁵, сумевший дать отпор самым мощным флотам.

Затем он осматривал свой арсенал: старый китобойный гарпун и два ржавых ножа – и понимал, что грезит наяву. Предстоял еще долгий путь, а то, что он захватил в плен пару жалких людишек, еще не означало, что судьба его окончательно переменялась.

Судьба Игуаны Оберлуса начала меняться однажды октябрьским вечером, когда ветер в ярости вздыбил волны, дико завыл и швырнул на утесы, высившиеся с наветренной стороны острова, к подножию скалы, ста метрами выше в которой было узкое отверстие, ведущее в пещеру, фрегат «Мадлен», возвращавшийся западным путем в Марсель после длительного пребывания в Китае и Японии.

Капитан «Мадлен», обогнувший по пути в Китай мыс Доброй Надежды, утонул в тот вечер, так и не поняв, как получилось, что он разбился о каменную стену, – ведь, по его расчетам, перуанскому берегу надлежало появиться на горизонте никак не раньше, чем через две недели. В «лоции», приобретенной им за баснословную цену у бывшего испанского лоцмана, нигде не указывалось, чтобы здесь, на самой линии экватора, в семистах милях от материка, торчал какой-то остров.

На рассвете, когда ветер стих и волны перестали с силой биться о каменную стену, взору Оберлуса предстали разбитый корпус корабля, лежащий на выступе скалы, мертвые тела, плавающие в воде, и мешки с чаем, уносимые течением в открытое море.

Три человека, обессиленные и израненные, с великим трудом добрались до берега и, обливаясь кровью, рухнули без чувств на крохотном пятачке каменистого берега. Когда они наконец с трудом открыли глаза – после пережитого совсем недавно трагического происше-

⁵ В XVII веке остров Тортуга служил негласной пиратской столицей.

ствия, во время которого чуть было не погибли, да еще стали свидетелями гибели товарищей, – они с ужасом обнаружили, что руки у них крепко-накрепко связаны, а сами они попали в плен к отвратительному, мерзкому человеческому существу.

Один из них, эконо́м, так и не понял, какая беда его постигла, потому что тут же представился из-за потери крови, а вот двое других были силой отведены в надежное место. Затем Оберлус отправился за Себастьяном Мендосой и норвежцем Кнудом и заставил их выгрузить с потерпевшей крушение «Мадлен» все, что могло сослужить ему хоть какую-то службу.

В каюте капитана он обнаружил пару пистолетов и солидный запас пороха и патронов – несомненно, самое ценное сокровище, каким ему когда-либо доводилось обладать. Для него оно уж точно представляло большую ценность, чем небольшой сундучок, наполненный жемчугом и увесистыми дублонами, который он обнаружил в нише за картой Франции.

Он приказал «рабам» перенести мешки с чаем, шелка и корабельную утварь в одну из больших пещер в ущелье и заставил их несколько дней подряд разбирать «останки» злосчастного корабля, перетаскивая на берег те части, которые могли еще пригодиться, а прочее позволил морю забрать себе.

Спустя неделю уже никто не смог бы даже представить, что в этом месте однажды потерпел крушение красавец фрегат, а двое людей, которым удалось выжить, превратились в связанных цепями рабов, и теперь они бродят по острову, причем им самым строгим образом запрещено подходить к норвежцу или чилийцу ближе, чем на триста метров.

Оберлус требовал неукоснительного выполнения своего приказа. Он собрал всех пленников в одном месте, показал им пистолеты, разъяснив с самого начала, кто на данном острове является единственным хозяином положения, и объявил тоном, не терпящим возражения:

– Коли застану вас вместе – брошу жребий: одного убью, а остальным отрежу по два пальца.

Затем обратился к чилийцу:

– Ты! Покажи-ка французам, скольких у тебя не хватает.

Подождал, пока Мендоса поднимет руку и продемонстрирует изувеченную руку, и прибавил прежним тоном:

– Я не сторонник пустых угроз. И никогда не оставляю невыполненными свои обещания. Тот, кто будет меня слушаться, будет жить спокойно, а кто считает себя слишком умным, пожалеет, что появился на свет.

Он подождал, пока француз, говоривший по-испански, переведет его слова своему товарищу, а затем прочертил в воздухе воображаемую линию, от высокой скалы, служившей ему дозорной вышкой, до самого центра северной бухты, и сказал:

– Вот граница, которую вы не смеете нарушать, французы – с одной стороны, чилиец и норвежец – с другой. Тот, кто на это осмелится, простится с жизнью.

Затем показал на колокол, снятый с фрегата «Мадлен» и висевший теперь на ветке, и добавил:

– Как только я ударю в колокол, вы должны немедленно явиться сюда. А тот, кто придет последним, получит от меня десять ударов кнудом. Уразумели?

– То, что вы делаете, это похищение и пиратство, – заметил Доминик Ласса, француз, говоривший по-испански. – А это по морским законам карается виселицей.

Его похититель не смог сдержать радостной улыбки.

– И кто же это собирается меня повесить? – проговорил он с сарказмом. – Случаем, не ты? Морские законы здесь не действуют. Тут имеет силу только закон Оберлуса, и то, что я скажу, – хорошо, а то, что считает кто-либо другой, – плохо. Хочешь, я тебе это докажу?

Доминик Ласса взглянул на обрубки пальцев Себастьяна Мендосы и отрицательно покачал головой.

– Так-то лучше! – воскликнул Оберлус. – Вы, французы, слывете хорошими поварами, – продолжил он. – Ты как?

Ласса кивнул на товарища:

– Он лучше.

– Хорошо. В таком случае скажи ему, что он займется кухней, ты будешь поставлять ему мясо и рыбу, на попечении Себастьяна останутся грядки и водоемы, а недоумок норвежец остается у него на подхвате и будет собирать все, что вынесет на берег море... – Он указал на второго француза: – Как его зовут?

– Жорж... – ответил Доминик Ласса.

– Скажи своему приятелю Жоржу, что я заставлю его снимать пробу со всего, чем он вздумает меня потчевать, дабы ему не пришлось в голову попытаться меня отравить. Вряд ли мне нужно вам объяснять, что всякое покушение на мою жизнь будет немедленно караться смертью. – Игуана Оберлус махнул рукой. – А сейчас ступайте. За работу!

Он подождал, пока пленники отойдут на двести метров, и, протянув руку, дернул за веревку колокола и настойчиво позвонил.

Спотыкаясь и падая – виной тому были короткие путы на ногах, – все четверо поспешили обратно. Их бег являл собой трагикомическое зрелище: они передвигались прыжками, отталкиваясь обеими ногами, и даже на четвереньках. Оберлус схватил одну из плетей, которые забрал с фрегата, и направил на норвежца, прибежавшего последним.

– Ложись на землю! – приказал он, сделав властный жест, который слабоумный пленник немедленно понял. – Живо!

Оберлус нанес ему десять обещанных ударов плетью и велел Мендосе помочь норвежцу подняться.

– В следующий раз буду бить сильнее, – сказал он. – Я могу стегать очень сильно, когда захочу. Пока это всего лишь предупреждение. Проваливайте!

Молча понурившись, терзаемые страхом, болью и гневом, четверо пленников разошлись в разные стороны.

Игуана Оберлус проводил их взглядом, пока они не скрылись в зарослях, вынул из кармана старую почерневшую трубку – вероятно, кому-то из погибших членов команды «Мадлен» ее подарила жена, – не торопясь, раскурил ее, с удовлетворением затянулся и выпустил густое облако дыма.

Хозяин.

Он был полновластным хозяином, и осознавал это.

– Чем это ты занимаешься?

Он неожиданно появился сбоку, возникнув, как всегда, словно ниоткуда и абсолютно бесшумно, точно бесплотная тень, и Доминик Ласса вздрогнул от испуга:

– Я пишу.

– Ты умеешь писать? – удивился Игуана.

– Не умел бы – не писал, – последовал логичный ответ. – Я вел записи в судовом журнале.

– Этим всегда занимается капитан. Капитаны – те умеют писать.

– Капитан предпочитал, чтобы это делал я, поскольку у меня почерк был лучше, чем у него...

– Это судовой журнал?

– Нет. Мой дневник. Я обнаружил его среди вещей, которые норвежец с Себастьяном перетащили на берег. Часть страниц намокла, но его еще можно использовать.

Оберлус протянул руку, взял толстую, увесистую книгу в темном потертом кожаном переплете и, повертев в руках, раскрыл и стал внимательно рассматривать мелкий, каллиграфически безупречный почерк и оставшиеся чистые страницы.

– Я не умею читать, – наконец признался он, возвращая книгу. – Никто так и не захотел меня научить.

Доминик Ласса молча закрыл тяжелый том, убрал его за спину, словно ценное сокровище, которое могли отнять силой, и, преодолевая отвращение, взглянул на человека, сидевшего напротив и погруженного в созерцание моря. Оно, необычайно спокойное, свинцовое, точно зеркальная гладь без единого пятнышка, широко раскинувшись, терялось из виду вдали.

– Да мне и ни к чему умение читать, – изрек Оберлус после долгой паузы. – Ни к чему. Даже если бы я стал самым ученым человеком на свете, моя физиономия все равно осталась бы прежней, и люди продолжали бы от меня шарахаться... – Он посмотрел на француза в упор: – Какой в чтении прок?

– Понять то, что написали другие, – непринужденно ответил француз. – Порой, когда мы испытываем одиночество, грусть или близки к отчаянию, то, что рассказывают другие, может принести нам успокоение. Узнаешь, как они подвергались похожим испытаниям и как их выдержали, и это помогает...

Игуана Оберлус на мгновение задумался и уверенно произнес:

– Это не про меня. Вряд ли кому-то довелось пройти через то, через что прошел я, и у него хватило духу об этом рассказать.

– Откуда такая уверенность? – возразил Доминик. – Никто не может знать этого наверняка, потому что никому не под силу прочитать все книги, какие были написаны.

– Знаю, потому что чувствую... То, что вы заставили меня испытать за все эти годы – целую жизнь, – никто не смог передать никакими словами. – Оберлус скептически покачал головой, достал из кармана трубку и, чтобы ее зажечь, высек кремнем искру. – Меня изо всех сил старались уверить в том, что я, родившись уродом, был настоящим *исчадием ада*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.